

JELENA JEWDOKIMOWA

Санкт-Петербургский государственный университет Кино и Телевидения, Rosja
evdoki-elena2006@yandex.ru

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

История последних веков свидетельствует о весьма непростых отношениях России и Польши. Настолько, что эти отношения склонны называть «непримиримым соседством» исследователи в области истории. Но факты культуры, опыт той или иной реальной личности свидетельствуют другое. Нельзя говорить о непримиримом соседстве Польши и России, если в таком существе, как человек, они встречаются. А таких встреч было немало. Вообще, достойно внимания то, что вопрос — о родстве польской и русской душ — родстве не естественном, увы, а должном — был чуть ли не общим местом умонастроений русской мысли начала XX века. Об этом пишут Вячеслав Иванов, Бердяев, Бальмонт. Последний, в частности, утверждает (вполне, впрочем, безосновательно, но энтузиастически!): «Во мне непременно есть польская кровь». Судя по интонации, он считает польскую кровь (повторю, наличие не является достоверной реальностью) одной из основ поэтичности, утонченности своей природы. Н. Бердяев в статье *Россия и Польша*¹ пытается проникнуть в тонкости и сложности польской души. Правда, заканчивается эта попытка общими местами, всегда свойственными внешнему взгляду.

Однако есть два больших русских поэта, которым не надо было искать и придумывать — в них действительно была польская кровь. Это Ходасевич и Цветаева. Надо сказать, что они настолько русские поэты, т.е. настолько принадлежат русской культурной традиции, что никто из русских читателей

¹ Позже эта статья вошла в книгу Н. Бердяева *Судьба России* под названием *Русская и польская душа*.

лей не задумывается о составляющих элементах их крови. Причиной тому не только национальная отзывчивость русского человека, о которой говорил Достоевский². Об оборотной стороне этого свойства тот же Достоевский устами Мити Карамазова сказал: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил...»³. Причина и в том, что Цветаева и Ходасевич вполне органично не только вошли в русскую культурную традицию, но и стали ее яркими выразителями. Важнее же всего то, что любое великое явление культуры наднационально и является достоянием общечеловеческим.

В. Ходасевич и М. Цветаева не просто жили в России, они — русские поэты, при этом польского происхождения. К Цветаевой это относится, правда, только отчасти: в ней приблизительно в равных долях слились русская, польская и немецкая кровь (она явно этим гордилась как некой особенностью). Зато к Владиславу Ходасевичу — в полной мере: в нем нет ни капли русской крови. Он наполовину поляк, наполовину еврей. При этом в воспоминаниях о своем детстве Ходасевич пишет, что «безвозвратно» обрусел в детском саду. За ироническим «безвозвратно» скрываются глубины осмысления своих отношений к двум дорогим ему странам: «России пасынок, а Польше — кто я — не знаю сам, Кто Польше я...». Он не знает, кто он Польше, потому что обыкновенных — повседневных — связей с ней нет, а значит, не ему, а ей решать, как и кем его принимать или не принимать. Но чем Польша является для него, Ходасевич сформулировал:

По утрам, после чаю, мать вводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божией Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал *Отче наш*, потом *Богородицу*, потом *Верую*. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи. То было начало *Пана Тадеуша*⁴.

Их тогда еще очень маленький Ходасевич не понимал, что не мешало ими наслаждаться. Более того, понимать было и не нужно, считает он, повзрослев, потому что Мицкевич с *Паном Тадеушом* — «не только поэзия», он связан с «молитвой и Польшей», и все это «там, где Бог», это «начало „того света“, в котором я был, когда меня не было, и буду — когда меня не будет»⁵.

Но мы сильно упростим вопрос, если истолкуем распределение ролей России и Польши в сознании Ходасевича, уподобив первую Афродите Пандемос («народной», всеобщей, пошлой), а вторую Афродите Урании (небесной, чистой). Родители горевали над тем, что считали, по-видимому, изменой польскому, а между тем их сын не выбирал свое обрусение. Собственно, значение и место России и Польши изначально было рав-

² Знаменитая речь, посвященная открытию памятника Пушкину в 1880 г. в Москве.

³ Ф. Достоевский, *Братья Карамазовы*, Тула 1994, т. 1. с. 147.

⁴ В. Ходасевич, *К столетию «Пана Тадеуша»*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 4 т. Записная книжка. Статьи о русской поэзии. Литературная критика 1922–1939*, Москва 1996, т. 2, с. 309.

⁵ Там же.

ноценным, поскольку в отношениях с обеими доминировала отнюдь не повседневность. Польша была «там, где Бог» ввиду своей связанности с молитвой и материнским заветом:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

Но памятны мне утра в детстве,
Когда меня учила мать
Про дальний край скорбей и бедствий
Мечтать, молиться и молчать.

Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
«Дитя! Всех рек сильнее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва»⁶.

Россия же была дана Богом постольку, поскольку исключительный поэтический дар отводил ему место в русской культуре, которое кроме него занять было некому — так самобытны были его поэзия и проза. И вот 25 апреля 1923 года на месте второй и третьей строфы появляются другие:

России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше —
И в них вся родина моя.

Вам — под ярмо ль подставить выю,
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.

Вам нужен прах отчизны грубой,
А я где б ни был — шепчут мне
Арапские святые губы
О небывалой стороне.

И в этом окончательном варианте две родины соединились, причем трагически: обе были утрачены. Знаменательно, что и последняя редакция в сборниках публикуется в разделе «Не опубликованное при жизни и неоконченное». Таким образом, те связи, о которых поэт говорит в этом стихотворении, при жизни так и остались реальностью только его внутренней жизни, не получив какого бы то ни было воплощения.

Обычно черновая (1916–1917 гг.) и окончательная редакции приводятся вместе, и только так и должны приводиться, поскольку взаимно проясняют-

⁶ В. Ходасевич, *Колблемый треножник*, [в:] его же, *Избранное*, Москва 1991, с. 117.

ся, прочитываясь одна за другой. «Тайный смысл» слов матери становится ясным — так думает повзрослевший поэт в 1916 году. Но в 1923 в тайне открывается последняя ясность и глубина. Если строфы первой редакции не сводимы к поэтической мечте о детстве и — через него — о Польше, так и вторая не только России посвящена. Что за тайна в словах «Всех рек сильнее — Висла»? «Дитя» думает, что ему рассказали о самой могучей в мире реке, и только. Став взрослым, он мог бы посмеяться над своей наивностью на том основании, что не бывает ни самой сильной реки, ни самой прекрасной страны. Но он не смеется и не опровергает слова своей матери — он открывает в них «тайный смысл»: прекрасно то, что мы любим, и оно становится самым прекрасным, если становится связанным со «скорбями и бедствиями». Такая любовь-скорбь была им в детстве воспринята «слепо» от матери по отношению к Польше вместе с молитвой, позже все принятое на веру в детстве стало реальностью его отношений с Россией. Можно было бы попытаться, что стихотворение стало свидетельством соединения России и Польши в душе через общую любовь-боль. Но «тайный смысл» еще глубже: не случайно о любви к России не говорится, а на любовь к Польше указывается через детскую восприимчивость. Это расширяет сказанное, придавая ему характер всеобщего закона. Это касается всего любимого, всего утраченного — все это «там, где Бог». И поэтому, с одной стороны, все любимое всегда сопряжено со страданием, и с другой стороны — самая горькая утрата не на совсем и не до конца — любимое остается в душе, если только душа к этому способна.

Изгнание соединило окончательно и неразрывно два драгоценных мира: Россию и Польшу. Не стоит считать это соединение чем-то само собой разумеющимся. Для того, чтобы, будучи изгнанным отовсюду, не считать себя обиженным и обделенным, нужны ум, душевное благородство, чувство собственного достоинства — и «глубокая, творческая память о родине», как называл свое чувство сам Ходасевич. А свидетельством тому, что Ходасевичу это удалось, — его стихи, написанные в эмиграции. Две точки опоры удерживают для Ходасевича все бытийственные основания и связи: Бог и слово, ими же разрешаются все противоречия. Правда, при условии, что, обладая «чудным даром, Божьим даром», будешь служить ему, а не примешь как должное. В служении же снимается вопрос о том, как поляк может быть русским поэтом. Ведь призвание выше тебя, оно выводит к сверхчеловеческому, к Богу, а значит, к тому, что, не зачеркивая происхождения, снимает остроту и болезненность всех земных вопросов. То же действует и в обратном направлении: вопрос о том, почему поляк Ходасевич должен жить не в Польше и говорить на другом языке, не поддается осмыслению по человеческому счету, но если есть Бог, то и Польша может стать чем-то большим, чем та родина, которой ты никогда не видел.

Исключительная поэтическая одаренность Ходасевича делала безусловной и глубинной его причастность самому сокровенному в русской культуре — слову (для русской культуры XIX–начала XX вв. художественная литература столь же значима и определяюща, как, скажем, изобразительное искусство для Италии). И он окончательно решает вопрос своей русско-польскости тем, что вообще отказывается от «отчизны грубой», любой («Вам нужен прах отчизны грубой, А я, где б ни был...»), — отстраняется он от всех привычных представлений об отчизне). Ему удается (по крайней мере, в поэзии) разурить узел (вообще-то очень страшно завязавшийся на его жизни) в духе античного героя, противостоящего року. О таком противостоянии, исследуя логику героического, пишет П.А. Сапронов в книге *Феномен героизма*:

Ахиллес [...], зная предсказанное, ничего не делает, чтобы уйти от его исполнения. Этим он совершенно не считается с судьбой, живя в модусе «как если бы», — как если бы судьбы не было. Главное, что с судьбой он себя никак не соотносит и тем, признавая ее бессмысленность, эту же бессмысленность преодолевает⁷.

Относительно Ходасевича надо вести речь, конечно, не о предсказании, здесь аналогия в другом: и над ним свершается нечто враждебное смыслу и зачеркивающее естественный ход жизни: родители Ходасевича изгнаны из Польши, ему самому нет места в послереволюционной России. Двойное изгнанничество — чем не рок, не приговор судьбы? Как здесь не впасть в уныние, в душевное «нищенство», потерянность? Да это как будто напрашивается само собой. Ходасевич в духе античного героя предпочитает игнорировать то, что гонит и давит его. Делает разразившееся над ним своей волей и выбором, утверждая более тонкие связи — теперь уже с двумя отчизнами: «А я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке», — говорит он о томах Пушкина, увозимых в эмиграцию.

Как было отмечено выше, ситуация Марины Цветаевой была куда уравновешеннее — в том смысле, что не было противоречия между происхождением и культурной принадлежностью: русский поэт с изрядной частью русской крови — не нужно сверхусилия, чтобы обосновать кровные и культурные связи. Но не такова Цветаева, чтобы искать равновесия и быть довольной покоем. В этой связи польская составляющая была не просто некой данностью, а, пожалуй, настоящей драгоценностью — тем, что выделяло из ряда других людей, бередило воображение. «Польский гонор» для нее радостный дар, который помогает высоко держать голову, не идти на компромисс и даже (!) имеет отношение к тем качествам, с которыми, казалось бы, не связан напрямую, — изысканности и сохранению какой-то особой, строгой чистоты. Именно это, в конце концов, становится центром проникновенной встречи Цветаевой с «бабушкой» (стихотворение Цветаевой — *Бабушке*),

⁷ П.А. Сапронов, *Феномен героизма*, Санкт-Петербург 2005, с. 59–60.

к которой она поэтически, опять же не обыденно, обращается и в которой хочет увидеть, как, впрочем, во всем и всегда, себя. Это, конечно, эгоцентризм, но не тот, вульгарный, который обусловлен исключительно узостью сознания. Здесь налицо стремление расширить границы своего я, воспринять мир другой души, сделав ее родной, а себя богаче и глубже.

Если Ходасевичу пришлось преодолеть ситуацию, толкавшую к уязвленности, то Цветаева, с ее любовью ко всему экстравагантному, незаурядному, изначально явно была довольна своей смешанной кровью и щеголяла наличием в себе «трех душ». Никакой уязвленности не было и быть не могло: она имела русскую кровь и русского отца, игравшего не последнюю роль в культуре России, стране, где она родилась. Бывала она и в Германии, считая ее наиболее духовно близкой себе: «Моя страсть, моя родина, колыбель моей души!», — восклицала она⁸. Гордилась своим «гонором», приписывая его польской составляющей. Она была богачкой по сравнению с Ходасевичем. Но это только изначально. Ходасевич исходное, ситуативное неблагополучие изжил «глубинной, творческой памятью о родине», точнее, о двух родинах. Для Цветаевой все закончилось катастрофой. Она заставляет себя ненавидеть прежде любимую страну — в 1939 году она клеймит Германию: «Позор!», — и пророчит: «Безумие, безумие, безумие творишь!»⁹ Таким образом, за два года до ее страшной смерти (самоубийство в 1941 году в Елабуге) «умирает» одна из ее «душ», самая романтическая.

Видимо, в оставшиеся два года Цветаева сводит тяжелые, тоскливые счета (Германию Цветаева связывала с музыкой, Россию — с тоской) с другой, русской, «душой». Никуда не деться от фактов, а именно: вопреки словам самой Цветаевой, главной ее «душой» оставалась русская, поскольку она была русским поэтом. Называя Германию колыбелью своей души, слово «мы», тем не менее, она произносила применительно к тому, что говорила о русских и России (сама, видимо, не отдавая себе в том отчета). Именно поэтому она и объяснялась в любви не ей — ведь это было бы самолюбованием и самовоспеванием. К тому же, Цветаева — романтик, и быть влюбленной, тем более безмерно и неистово, она может только в то, что сейчас далеко. В России она жила, на русском языке писала стихи (в этом их общая с Ходасевичем судьба — русская поэзия). Россия и больше ее и есть она сама. По любому счету — трудно романтическому взгляду найти здесь пищу. Германия — своя ровно настолько, чтобы быть вправе ей это восторженно воскликнуть, и достаточно другая, чтобы желать соединиться с ней восхищенно и благодарно. Россией Цветаева не восхищается, по ней — тоскует (ср. с Ходасевичем, который предписал себе другие отношения

⁸ М. Цветаева, *Автобиографическая проза. Эссе. Критические статьи*, [в:] ее же, *Собрание сочинений в 7 т.*, Москва 1995, т. 5, с. 204.

⁹ М. Цветаева, *Германии. Стихи к Чехии*, [в:] М. Цветаева, *Стихотворения. Поэмы*, Москва 2005, с. 525–526.

со «своей Россией», вознесенные над драмами этого мира). Причем актуально для Цветаевой это было не только в эмиграции, но и по возвращении, правда, уже в другой, советский, мир. С Россией двух последних лет она так и не смогла стать тем органическим единством, которым была до революции. И с той душой, которая задавала главную линию цветаевской жизни, разрыв был еще большей катастрофой, чем с германской, — это была настоящая смерть.

К Польше отношение было лишено надрывов, надломов, взлетов и катастроф. Но оно совсем не было безразличным. Надо сказать, что и здесь она не могла обойтись без романтического: польская тема звучит в ее творчестве как некий изыск, добавляющий где аристократические, а где сказочные мотивы. Приступая к польской составляющей в себе, она с интересом и не без удовольствия, пожалуй, не без кокетства, вглядывается в нее.

Наверное, Польша для Цветаевой не там, где для Ходасевича, не в Боге. У него «дым над польской кровлей», поднимаясь над домом, который где-то далеко, — дым не рассеивается, не оборачивается туманом, а становится небом. Для Цветаевой Польша — не небесна, не бесплотна, такая, выпуклая и осязаемая, манит и чарует. Она вглядывается в портрет своей «бабушки» и видит:

Продолговатый и твердый овал,
 Черного платья раструбы...
 Юная бабушка!
 Кто целовал
 Ваши надменные губы?
 Руки, которые в залах дворца
 Вальсы Шопена играли...
 По сторонам ледяного лица —
 Локоны в виде спирали.
 Твердый, прямой и взыскательный взгляд.
 Взгляд, к обороне готовый.
 Юные женщины так не глядят.
 Юная бабушка, — кто Вы?
 Сколько возможностей Вы унесли
 И невозможностей — сколько? —
 В ненасытимую прорву земли,
 Двадцатилетняя полька!
 День был невинен, и ветер был свеж.
 Темные звезды погасли. —
 Бабушка! Этот жестокий мятеж
 В сердце моем не от Вас ли?...¹⁰

Вообще «бабушка» (не цветаевская, а как таковая) — существо скорее земное, как раз домашнее, уютное, хлопотливое и родное. Такая бабушка Цветаевой не может быть интересна. Другое дело — юная бабушка, бабушка,

¹⁰ М. Цветаева, *Стихотворения. Поэмы...*, с. 67.

ушедшая «в ненасытимую прорву земли», «двадцатилетняя полька». Это то, в чем Цветаева может найти себя — и находит. Женщина на портрете — не ангел и не богиня, она не с небес, и уходит она в землю. Но ни в коем случае не приземлена — в ней царственное и аристократическое как безусловные знаки ее польскости, дорогие Цветаевой: «Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, — кто Вы?» Строчка загадочна: а как же глядят юные женщины? И какие, если не юные, женщины глядят так? Или вообще не женщины? Это взгляд какого-то особого, не совсем здешнего существа. Ранее было сказано, что Польша Цветаевой не в Боге и не в небесах. Но не потому, что принадлежит, тем более — подчинена, земле. Она воспринимается особым, не этим, — безусловно, прекрасным, — миром. Другое дело, что у Цветаевой вместо материнской молитвы и костела — Рейн, Гете, благородное безумие в немецко-романтическом духе. Пожалуй, будет уместным сказать, что для Цветаевой актуален не Бог-Творец и Бог-Любовь, а необъятная, неистовая сфера духа, — такая, в которой сверхразумность догмата (которая для нее чужда и неинтересна) заменена чем-то вроде эзотерики *Степного волка* Г. Гессе: «вход не для всех, только для сумасшедших». «Юная бабушка» чужда этому миру с его будничной обыкновенностью. Чужда она и небу, о чем уже сказано выше, и земле, поскольку земля здесь не «земля родимая» в ладанке Ходасевича, а «ненасытимая прорва», алчно поглощающая ту, которая исполнена «возможностей и невозможностей». Собственно, это и есть цветаевский романтизм — у нее все должно быть самым особенным, нигде не бывшим и не бывающим образом. А поэтому обеим — Цветаевой и «бабушке» — остается «жестокий мятеж». Она слишком аристократична, чиста, бескомпромиссна («взгляд, к обороне готовый»). Если кто-то и целовал ее «надменные губы», то это был единственный удостоенный. Вообще, стихотворение, при видимой простоте — и неслучайно, ведь это разговор внучки с бабушкой — гораздо сложнее и тревожнее, чем может сначала показаться. Сам факт, что бабушка и внучка — ровесницы, что разговор идет вне времени, что при этом внучка ее вопрошает со всем почтением, создает напряжение, не сводимое только к романтизму: смешиваются планы временные, пространственные, рушатся обычные причинно-следственные связи. Простота подкупает и обманывает. Стихотворение легко запоминается, но странные строчки тревожат и требуют ответа. Так, например, преобладающие эпитеты в обрисованном силуэте «двадцатилетней польки» таковы, что должен возникнуть образ жесткий и холодный. Жестковатость в нем есть действительно: да и как не быть, если «твердому овалу» лица вторят раструбы (жесткость линий) и чернота (жесткость цвета) платья, а линии и цвет поддерживаются звуками «р», «тр» и «б», если надменные губы и ледяное лицо обрамлены спиралью локонов. Эпитет «твердый» повторяется применительно к взгляду, который к тому же еще и прямой, и взыскательный. Кажется, достаточно, чтобы возник образ вполне несимпатичный. Но в том

и поэзия, и чудо, что этого не происходит. Причем снимается его жесткость без каких-либо видимых усилий, несколькими безупречно тонкими и мастерскими штрихами. Руки, играющие вальсы Шопена в залах дворца — один из них. Становится ясно без дополнительных уточнений и ненужного форсирования: у этой гордячки чистая, нежная, изысканная душа. И ее надменность только усиливает чистоту, поскольку ею и обусловлена.

Однако впереди еще кульминация: вся эта нежность и чистота достается «ненасытимой прорве земли», стало быть, обладательница «твердого, прямого и взыскательного взгляда» не сухая и требовательная особа, а беззащитная жертва, которая, однако, до конца «обороняла» свою полную «возможностей и невозможностей» душу. В том же ключе звучит тема «жесточкого мятежа». Она могла бы зазвучать грубо (каким в реальности и бывает всякий мятеж), но оборачивается чем-то детски-жалобным, опять же — беззащитным, ввиду интонации растерянного, вопрошающего ребенка: «Бабушка! Этот жестокий мятеж в сердце моем не от Вас ли?» — этот возглас, этот вопрос, остающийся без ответа, это вдруг вспыхивающее рядом с «мятежом» «сердце»... Все это освобождает мятежность юных собеседниц (Цветаевой, пишущей эти стихи, 22 года) от грубости или напора. Это не буря, крушащая все вокруг себя, а рана, раненость чистой души. Она беззащитна в своей чистоте, и потому становится жертвой всякой ненасытимости, всего «здешнего», но не беспомощна, будучи готова оборонять, только не жизнь (это слишком плоско, не интересно для Цветаевой), а чистоту, сокровище своего сердца. И на вопрос к «бабушке» «кто Вы?», в таком случае, можно ответить: «конечно, царица» и «конечно, сама Марина Цветаева».

Есть в этом стихотворении особенно загадочные слова: «темные звезды погасли». Странно все, потому что все перепутано, или отменено, или соединено. Самое очевидное: звезда потому и звезда, что светлая и светит. Она освещает ночь, гаснет же с наступлением дня. Как же, как? — кричит здравый смысл, — могут быть темные звезды? Контекст может дать подсказку: «День был невинен, и ветер был свеж», — ясно, по крайней мере, что гаснут они все-таки, как и полагается, днем, но не от солнечного света, а от невинности дня и свежести ветра. Таким образом, темные звезды соприродны ненасытимой прорве земли и всему тому, против чего и разгорается мятеж в сердце «двадцатилетних полек», бабушки и внуки. «Бабушка» — день, невинность и свежесть, «темные звезды» — не те светила, которые разрывают тьму, а сама эта тьма, эта ночь. «Бабушка» победила тьму, хоть и поглощена смертью. Вот почему твердость и надменность величавы и нежны, а не давящи и угрюмы.

Надо полагать, что такой видится Цветаевой ее польская «душа». Вероятно, в такой позиции меньше «труда и постоянства», чем в позиции Ходасевича, в ней больше детского и непреодоленно романтического, наверное, она не чужда эгоизма. Но в обоих случаях личность становится высотой,

на которой встречается и примиряется то, что не может быть примиренным в политике и даже в истории. Оба поэта демонстрируют верность одной культуре без измены другой.

Pogodzenie niepokodzonego w osobowości i kulturze. Władysław Chodasiewicz i Marina Cwietajewa

Streszczenie

Autor artykułu rozpatruje zagadnienie wzajemnej korelacji rosyjskości i polskości w twórczości poetów rosyjskich — Władysława Chodasiewicza i Mariny Cwietajewej. Oboje, mający polskie korzenie, są ich świadomi i cenią je, jednocześnie służąc kulturze kraju, w którym się urodzili. Okazuje się zatem, że ojczyzna to jedynie ziemia i dom. Problem ten widoczny jest jeszcze dobitniej, gdy zestawimy go z pojęciem Boga. Stanowiska zajęte przez tych poetów pomagają usunąć sprzeczności, które wydają się nie do rozwiązania w polityce i historii.

Słowa kluczowe: Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie.

Reconciling of irreconcilable contradictions by efforts of personality and culture. Vladislav Hodasevich and Marina Tsvetaeva

Summary

The author raises the question of the correlation of Russian and Polish poetry component in two large Russian poets — Vladislav Hodasevich and Marina Tsvetaeva. They both have Polish origin, recognize and value it. At the same time, they write poems in the language of the country where they were born and live. Thus, in the cultural sphere homeland may just be the land and house. The issue is even more visible if the poet does not just refer to people but to God. The position of these poets can serve as a model: it helps to remove the contradictions that seem irreconcilable motivated by politics and history.

Keywords: God, poetry, culture, homeland, reconciliation.